

Пыль на губах

A young girl with long brown hair, wearing a simple white short-sleeved dress, stands barefoot on a dirt path. She has a serious expression. Behind her, several glowing white, ethereal figures of women in traditional Russian folk costumes are dancing in a circle. The scene is set at night in a village with wooden houses and a full moon in the sky.

Света Калния

Света Калниня

Пыль на губах

<https://litres.ru/74519628>

SelfPub; 2026

Аннотация

Каждую ночь из-под земли звучит вальс. Кто услышит — уйдёт босиком и не вернётся. Она не убивает. Она танцует — и забирает навсегда.

Деревню спасёт девочка, которая поёт против. Ей семь лет. Нота, которую она держит, — единственное, что стоит между живыми и танцем.

Пока звучит нота — деревня спит. Прервётся — начнётся снова.

Танец не кончается. Никогда.

Содержание

Глава 1	4
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Пыль на губах

Глава 1

Каждая деревня в горах держится за одну историю. За единственную нить, на которую нанизано всё — имена, тропы, колодцы, кладбища. Если вытащить нить — всё рассыплется, и уже не собрать.

В деревне Мртвица, что стоит на излучине реки Дрине, у самой боснийской границы, такой нитью была история о Даме.

Никто не помнил, как её звали. Звали — Дама. И всё. Говорили так.

Давно — так давно, что деды дедов не помнили, — проежжал через Мртвицу отряд турецких янычар. Было это в те годы, когда Дрина была границей, и на одном берегу стояли османы, а на другом — христиане, и каждый берег боялся другого. Янычары остановились на ночь, разожгли костры у реки, приставили караулы. Мирно. Тихо.

А утром нашли одного — мёртвого. Лежал у колодца, лицом вверх, глаза открыты, рот закрыт. На лице — ни раны, ни синяка. Просто — мёртвый. И вот что было странно: на ноге у него не было сапога. Только один. Левый. Правая нога — босая, белая, и пальцы — вытянуты, как будто в последний момент он тянулся, тянулся к чему-то. Или от чего-то

отдёргивал ногу.

Турки подняли шум, искали, крутили — никого. Мртвица была маленькая, дворов пятнадцать, все на виду. Никто не входил, никто не выходил. Ночью лаяли собаки, но карательные клялись: никого не видели.

Отряд ушёл. Через день — другой янычар, тот же путь, та же ночь. Утром — у колодца. Мёртвый. Сапог на правой ноге, левая — босая. Пальцы вытянуты.

Командир отряда — ага Хасан, человек жёсткий и насмешливый — оставил трёх лучших людей. Переодели, спрятали в сене у колодца. Утром — все трое мёртвы. У одного — левый сапог снят. У двоих — оба. У всех — пальцы вытянуты, как у танцоров, что застыли на полушаге. И у всех — лица спокойные. Не мучные. Спокойные. Будто умерли во сне, во сне красивом, из которого не хочется возвращаться.

Хасан повернул отряд и ушёл. Больше через Мртвицу турцы не ездили. Дорога заросла. Деревня осталась.

И повелось.

Каждые семь лет — или около того, никто не считал точно — в Мртвице кто-то умирал. Всегда — ночью. Всегда — у колодца. Всегда — босой. Сапог, туфля, лапоть — что бы ни было на ноге — снималось. Нога — белая, пальцы — вытянуты. Лицо — спокойное.

И самое странное: на земле, вокруг тела, были следы. Босые, женские, маленькие. Они шли по кругу — вокруг тела, вокруг колодца, по траве, по пыли — и круги были ров-

ные, правильные, как будто кто-то танцевал. Танцевал вокруг мёртвого — медленно, тщательно, шаг за шагом.

Старики говорили: Дама. Она приходит танцевать. Кого застанет у колодца — того уведёт. Не насильно. Он сам идёт. Идёт за ней, потому что она — красивая. Красивее всех. И танец её — красивее всех. И кто увидит танец — не может не пойти. Не может не танцевать. И танцует — пока сердце не остановится.

Её никто не видел. Никто живой.

Потому что увидеть Даму — значит уже не быть живым.

В Мртвице привыкли. Как привыкают к засухе, к волкам, к ледяному ветру с горы. После заката — не к колодцу. Дети — в дом. Двери — на засов. Собаки — в сениях. И ничего. И обойдётся. До следующего раза.

Но вот что было странно, и об этом не говорили вслух, а только шепотом, и только самым близким: те, кто умирал у колодца, — умирали счастливыми. На лице — улыбка. Лёгкая, тёплая, как будто человек вспоминал самый лучший момент своей жизни. Одна женщина, Восилия, жена кузнеца, которая нашла тело своего тестя, сказала: «Он улыбался так, как улыбался в день свадьбы. Когда в первый раз поцеловал меня. Я такого лица у него не видела тридцать лет».

И ещё: у всех, кто умирал, — на губах была пыль. Тонкая, белая, как мука. И пахла — не смертью. Пахла духами. Тяжёлыми, сладкими, восточными. Так пахнет в кофейне в Сараеве, где курят наргиле и пьют густой кофе из медных

кружек.

Дама пахла кофейней. Дама пахла Востоком. Дама была — не отсюда.

Время шло. Мртвица старела. Молодые уходили — в города, в долины, к морю. Оставались старики, несколько семей, церковка, колодец. Тропа, по которой когда-то ехали турки, превратилась в козью дорожку, а потом — и вовсе пропала.

Но Дама осталась.

Это поняли, когда в одну осень, через двенадцать лет после последней смерти, у колодца нашли Яницу — девушку шестнадцати лет, внучку старосты. Она лежала на спине, босая, в одной туфельке — правой, бархатной, с вышивкой. Левая нога — белая, пальцы вытянуты. Лицо — улыбка. На губах — пыль. А вокруг — следы. Круги. Босые, маленькие, женские.

Но в этот раз — было иначе.

Яницу нашли не утром. Нашли в полночь. Нашла её мать, потому что не спала — слышала, как кто-то поёт. Тихо, далеко, из-за дома. Не по-сербски. Не по-турецки. На языке, которого не было. Мелодия — вальс, медленный, кружащийся, и от него кружилась голова, и хотелось встать и идти, идти на голос, на запах — духи, тяжёлые, сладкие, — и мать встала, но успела схватить себя за запястье и сжать так, что остались синяки, и пошла — не на голос, а к дочери, в комнату, — и дочка не было. Постель холодная. Окно открыто.

Она бежала по двору, и луна была полная, и всё было белое — стены, трава, крыши — и у колодца, на белом камне, лежала Яница. Босая. В одной туфельке. С улыбкой. И вокруг — следы. Круги. И следы были не только на земле. Они были и на камне колодца — отпечатки босых ног, маленькие, глубокие, как будто кто-то танцевал на камне, и камень поддался, стал мягким, как глина, и принял следы.

Мать закричала. Прибежали соседи. Принесли факелы. Свет — и следы исчезли. Просто исчезли, как будто факел их сжёг. И на камне колодца — ничего. Гладкий камень. Только Яница. И туфелька. Бархатная, с вышивкой. Левая.

Левую не нашли.

Староста, дед Милорад, собрал деревню. В церкви, при свече, при закрытых дверях. Сказал коротко:

— Она вернулась. И теперь берёт молодых. Раньше брала, кого застанет. Теперь — выбирает. Яницу выбрала. Значит, ей нужна кровь молодая. Значит, она голоднее, чем была. И значит — мало не будет.

Народ молчал. Боялись. Не Дамы — боялись слова «мало не будет».

— Что делать? — спросил кто-то.

— Звал я попа из Вишеграда, — сказал Милорад. — Поп не приехал. Сказал: это не по его части. Это не Божье и не чёртово. Это — другое.

— Как — другое? — не поняли.

— Поп сказал: есть то, что старше Бога и чёрта. Старше

креста и старше молитвы. То, что было здесь до всего. До сербов, до турок, до римлян. До всех. И оно не зло. Оно — как река. Река не злая. Река течёт. И кого унесёт — того унесёт. Нельзя проклясть реку. Нельзя освятить реку. Можно только не лезть в воду.

— И что?

— И ничего, — сказал Милорад. — Не лезть в воду. Не ходить к колодцу. Всем. Всем. С сегодняшнего дня — воду брать из Жучи, из ручья. Колодец — закрыть. Камнем. Засыпать. Забыть.

Колодец закрыли. Завалили камнями — тяжёлыми, с горы. Положили сверху ветки, полили святой водой — на всякий, хоть поп и сказал, что не поможет. Поп Дамьян, свой, местный, read молитву — «От нечистого, от нежити, от всякого зла» — и крест положил на камни, деревянный, большой, от церкви.

Три дня было тихо.

На четвёртый день пропал мальчик. Бранко, девять лет, сын пастуха. Не у колодца — колодец был завален. Он пропал из дома. Из своей кровати. Окно было закрыто — на защёлке, изнутри. Дверь — на засове. Мальчик — просто gone. Как будто его не было. Постель тёплая. На подушке — след, маленький, как от головы. И на подушке — пыль. Белая, тонкая. И запах — духи.

Искали. Три дня. По лесу, по руслу, по оврагам, по пещерам — нигде. На четвёртый день нашли. Не у колодца. Дале-

ко. На поляне, в буковом лесу, на полпути к Сурче — там, где тропа вьётся и где старики говорят, что в полнолуние слышна музыка. Музыка, которой нет. Вальс, медленный, кружащийся.

Бранко лежал на мху. Босой. Сапоги — рядом, оба, не снятые, а поставленные, аккуратно, как будто он сам их снял и поставил. Пальцы — вытянуты. Лицо — улыбка. Не детская. Взрослая. Улыбка человека, который увидел что-то — и больше ничего не хотел.

И вокруг — следы. Круги. Босые, маленькие, женские. На мху, на листьях, на камнях. Кружили, кружали, пересекались — как танец, как хоровод, как рисунок, который танцовщица рисует ногами по полу, и пол — запечатлел.

И ещё: на деревьях вокруг поляны — на коре, на высоте двух человеческих ростов — были царапины. Неглубокие, но чёткие. Как будто кто-то — танцуя — задевал деревья ногтями. На высоте, куда человек не достанет. Если только — не танцует. Если только — не летит.

Поп Дамьян пришёл на поляну, посмотрел. Постоял. Помолчал. Потом сказал — негромко, так что только Милорад услышал:

— Это не Дама.

— Что?

— Это не Дама. Дама — из колодца. Дама — из воды. Это — из леса. Это с горы. Дама танцевала у колодца. А эта — танцует везде. Эта — сильнее. Эта — голоднее. Эта — уже

не та, что была.

— А какая?

— Не знаю, — сказал поп. И впервые за тридцать лет служения — перекрестился не перед иконой, а перед лесом. Не от нечистого — от непонятного.

А ночью слышали музыку.

Все. Вся деревня. Не из-за дома, не от колодца — ото всюду. Как будто кто-то поставил оркестр на горном склоне, и ветер нёс мелодию вниз, в долину, в дома, сквозь стены, сквозь окна, сквозь закрытые ставни. Вальс. Медленный, кружащийся, и в нём — струнные, и что-то ещё, чего не бывает у скрипок: низкий гул, как от большой балалайки, и поверх — голос. Женский, тонкий, без слов, без слов, только звук — «а-а-а», долгий, бесконечный, как нота, которую держат, держат, держат, пока не кончится дыхание. Но дыхание не кончалось.

Собаки не лаяли. Куры молчали. Коты сидели у окон и смотрели — не наружу. Внутрь. В комнаты. Как будто знали: там, снаружи, — не то, на что можно смотреть.

Дети спали. Глубоко, крепко, с улыбками. Все — с улыбками. Матери проверяли — будили, трясли — дети не просыпались. Дышали. Тёплые. Но не просыпались. Как будто музыка была колыбельной — и колыбель качалась, и дети плыли, и не хотели на берег.

Милорад сидел у себя в доме, при свече, стиснув колени. Жена его, Стана, лежала на кровати — не спала, но и не дви-

гальсась, смотрела в потолок, и губы её шевелились — она считала. Считала что-то. Считала и считала, и Милорад не мог разобрать слова, и боялся подходить.

Музыка играла до рассвета. Как только первый свет — серый, слабый — пробился в щель ставни, музыка оборвалась. Не стихла — оборвалась. Как струну перерезали.

Стана закрыла глаза и заснула — сразу, провалилась, как камень в воду. Милорад сидел ещё час, пока не рассвело, и потом — не двинулся. Сидел и смотрел на свои руки. Руки дрожали. И на правой руке, на безымянном пальце, не было кольца. Обручального. Золотого. Тонкого. Кольцо, которое носил сорок лет.

Он не помнил, как снял. Не снимал. Оно просто — исчезло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.